

Марк АМУСИН

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ВАРИАНТЫ

Писать на тему революции (революций) 1917 года — и трудно, и легко. Легко, потому что Революция — «праздник, который всегда с тобой», потому что отношение к ней лежит в основе всякого размышления о судьбах России, да и мира в XX веке, потому что по ее поводу высказываются и усваиваются самые причудливые мнения — здесь нет ничего недозволенного. Трудно — потому что, только приступив к теме, сразу обнаруживаешь, что «дискурс» твой сносит в сферы глобальные, философские: детерминизм и случайность, объективные и субъективные факторы истории, наличие или отсутствие «особого русского пути» и т. д. — вплоть до соотношения свободы и справедливости. А разве можно все это обсуждать в скромных публицистических рамках?

Говоря о русской революции, нужно проскользнуть между Сциллой предопределенности и Харибдой разудалого произвола: мол, все, что хочешь, могло случиться. По-хорошему, тут нужно бы взвешивать вероятности, раскидывать веера вариантов, умозаключать от случившегося к возможному... Ну, и почему бы не попробовать?

Для повышения порядка изложения, стоит, пожалуй, задаться несколькими вопросами, относящимися к самой сути происшедшего. А при поиске ответов я буду, по устоявшейся привычке, апеллировать не только к так называемым фактам и логике, но и к литературным свидетельствам.

Итак, вопрос первый: *была ли революция неизбежной, случайной — или плодом чье-то злого умысла?*

Однозначного ответа на этот сакраментальный вопрос нет. Однако вполне ясно, что в 1917 году революция была одним из вполне вероятных исходов. При всем нашем нынешнем скептицизме и недоверии к «законам истории» — выученные нами когда-то формулы о «глубоком кризисе», о «жесточких внутренних противоречиях», о «революционной ситуации» вовсе не были пустыми словами. Невозможно отрицать: напряжения между самодержавно-бюрократическим режимом и обществом, точнее, разными его слоями и группами, были очень сильными. Они копились на протяжении полувека, и хотя к пресловутому «1913 году» конфликты, казалось, несколько смягчились, война разбередила старые раны и добавила новые.

Экономическое положение России на третьем году войны было заметно тяжелее, чем в Англии или Франции. Многие, правда, полагают, что оно было лучше,

Марк Фомич Амусин — литературовед, критик. Родился в 1948 году. Докторскую диссертацию по русской филологии защитил в Иерусалимском университете. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003), «Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности» (2016). Статьи публиковались в журналах «Время ищет», «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый мир». Живет в Израиле.

чем у центральных держав — Германии и Австро-Венгрии. Беда в том, что у государственной власти в России не было и малой доли того «кредита доверия», которым пользовалась, например, династия Гогенцоллернов в Германии (Габсбургская империя — другое дело, там действовали мощные центробежные силы этнического порядка).

Ни у одного из воюющих «режимов» не было такого проблематичного послужного списка за предшествующие 20 лет, как у российского: Ходынка, болезненное поражение в войне с Японией, жестокие потрясения 1905—1907 годов, суровые методы проведения столыпинских реформ, столь же насущных, сколь и непопулярных в обществе, 10 лет постоянных конфликтов правительства с новоиспеченным законодательным органом — Государственной думой. К этому добавлялись неудачи и тяготы войны, развеявшие эйфорию «августа четырнадцатого», и, наконец, трагический «распутинский» казус.

Значительная часть образованного, «креативного» класса России десятилетиями пребывала в оппозиции к власти — и это невозможно списать на козни иностранных спецслужб, происки инородцев или на патологический антипатриотизм интеллигенции. Эта ситуация, надо признать, сложилась исторически — о чем много писали после революции такие мыслители, как Струве, Бердяев, Иванов-Разумник, Федотов. Так же, как и аграрная проблема, которая, оставшись не решенной после отмены крепостного права, полвека отравляла общественную атмосферу и экономические отношения в стране. Земельная реформа Столыпина, ставшая реакцией на мощные крестьянские волнения 1905—1906 годов, имела верное направление, но осуществлялась медленно, подвергалась резкой критике с разных сторон и не решала радикально проблему помещичьего землевладения. Хотя крестьянские выступления в период между революциями постепенно затихали, отношение крестьянства к правительству и его политике оставалось настороженным и, скорее, враждебным.

В городах и промышленных центрах рабочие на большинстве предприятий были недовольны зарплатой и условиями труда. В пролетарской массе пользовалась популярностью зажигательная пропаганда как эсеров, так и разных социал-демократических фракций. Буржуазия, тяготеющая к конституционным демократам и другим оппозиционным партиям, была раздражена ущемлением прав Думы.

К концу 1916 года недовольство курсом и методами действия правительства империи стало почти всеобъемлющим. Множились слухи о предательстве, о наличии немецких шпионов и «агентов влияния» в самых высоких кругах.

Более того, с начала нового века самые разные слои российского населения, каждый по своим причинам, чувствовали приближение революции — и надеялись на ее приход. Литература в этом смысле была достаточно верным барометром общественной «погоды» — и она, можно сказать, грезилась о революции (а может быть, бредила ею). Причем дело вовсе не ограничивалось хрестоматийными для советского времени именами Горького и Маяковского.

Бердяев в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» писал, что «русская поэзия была полна предчувствий грядущей революции, а иногда и призывала к ней». И верно — ощущение катастрофичности времени, ожидание неминуемой грозы пронизывает многие стихи и Блока (цикл «На поле Куликовом», поэма «Возмездие»), и Андрея Белого, и Валерия Брюсова — это уже не говоря об испуленных мечтаниях футуристов.

Ладно — поэты. Но и прозаики, и эссеисты говорили и думали о том же. Чехов сам по себе не был ни революционером, ни человеком или художником революционного склада. Однако такие проявления его реалистического таланта, как «Мужики» или «В овраге», рисовали картину российской жизни, в которой существовать

было нестерпимо. Эта картина человеческой нищеты, забитости, униженности, вопиющей несправедливости взывала к переменам — и переменам радикальным.

Дмитрий Мережковский, ставший со временем злейшим врагом советской власти, в начале века был настроен резко оппозиционно к власти тогдашней и проповедовал неизбежность революции. Его трилогия, включавшая в себя пьесу «Павел I», романы «Александр I» и «14 декабря», исследовала природу самодержавия и истоки революционного движения в России, показывая его закономерность и нравственную правоту. Конечно, нужно иметь в виду, что Мережковский, особенно в период событий 1905—1907 годов, наделял развертывавшуюся на его глазах русскую революцию религиозно-мистическим смыслом. Отдаленной целью революции он считал победу «религиозного анархизма», тождественного по сути подлинной духовной теократии.

Но и в современном ему изводе революционного движения Мережковский видел могучую и беспрецедентную силу обновления: «...во всякой революционной общественности скрыто начало соборности, и при этом соборности вселенской — мечта „всемирного объединения человечества“... т. е. начало бессознательно-религиозное... „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ — этот призывный клич, напоминающий крик журавлей, нигде еще не раздавался с такой недосыгаемо-далекой и торжественно-грозной, словно апокалиптической, надеждой и угрозой, как именно в русской революции», — писал он в присущей ему напряженно-риторической манере.

Леонид Андреев, один из самых известных писателей той эпохи, приветствовал революцию 1905 года и лично содействовал ей (он, например, предоставил свою квартиру для заседания ЦК РСДРП). Да и в последующий период, до Февральской революции включительно, он оставался убежденным противником царского режима. Андреев многие свои произведения посвятил теме революционной борьбы, главным образом — в ее индивидуально-террористическом изводе. С присущим ему мастерством и аналитической остротой он исследовал психологические коллизии, сопутствующие этой борьбе и развертывающиеся в душах как носителей революционного насилия, так и его «объектов» («Губернатор», «Тьма»). В «Расказе о семи повешенных» Андреев с надрывной проникновенностью изображает последние дни и часы участников террористической группы, ожидающих казни. В романе «Сашка Жегулев» повествуется о трагическом пути юноши-дворянина, порвавшего со своим окружением и ставшего предводителем отряда «идейных разбойников», крестьянских мстителей, то есть новым Дубровским. Февральскую революцию Леонид Андреев приветствовал с энтузиазмом, Октябрьскую — не принял.

Ведущий деятель Боевой организации эсеров Борис Савинков, знаменитый террорист, был известен и в литературных кругах как автор романов «Конь бледный» и «То, чего не было», в которых живо изображал психологию и жизненную практику боевиков. Писал он под псевдонимом Ропшин, однако для широкой публики псевдоним этот был весьма прозрачен. Кстати, Мережковский и Зинаида Гиппиус весьма способствовали литературному успеху «Коня бледного»...

Все это к тому, что в ту пору литературное отображение революционной борьбы в самых разных ракурсах (от апологетики или критики индивидуального террора до приобщения рабочих и интеллигенции к марксизму — в книгах Горького, Серафимовича, Вересаева) было делом обычным и востребованным.

Таким образом, говорить, что революция обрушилась на Россию ни с того ни с сего, как снег на голову, абсолютно неверно. Но, скажут мне, долгожданной «невестой народной» была именно революция февральская, а октябрьский переворот — совсем другое дело. Большевики, мол, украли революцию, а потом изнасиловали ее.

Тут вот что интересно. Предпосылки для свержения самодержавия были многообразны и весомы, но случился Февраль вполне спонтанно, непредсказуемо. Сильной и единой направленной политической воли к смене власти в стране не было. Оппозиция в Думе «лаяла», но практически не «кусалась», будучи изрядно раздробленной. Патриотические, антинемецкие настроения в обществе сохранялись, хоть и утратили свежесть и остроту первых недель войны.

Однако случилось то, что случилось. Уже с начала 1917 года резко выросло количество забастовок в Петрограде. Из-за сбоя при доставке хлеба в столицу начались массовые демонстрации, в которых участвовали поначалу преимущественно женщины. Одна из протестных манифестаций была расстреляна — что привело к взрыву народного возмущения, и в считанные дни режим был сметен.

События развивались лавинообразно. Но падение первых «камушков» выглядит достаточно случайным. Вполне можно предположить, что если бы не ряд совпадений — в феврале могло бы и пронести. А там — в войне уже намечался перелом, приближался момент вступления в нее США, продовольственная ситуация в стране и столице несколько месяцев спустя могла бы стать более благоприятной...

Разумеется, устранение архаичной, заскорузлой, не отвечающей духу времени системы самодержавия оставалось бы актуальным — и произошло бы, раньше или позже. Но, вероятно, совсем в другой редакции.

Иначе дело обстоит с Октябрьской революцией. Установление социалистической системы, даже при наличии смутных «коммунистических» чаяний в народной, крестьянской толще и левой ориентации больших групп пролетариата, отнюдь не было насущной потребностью для России в тот момент. В широком социально-культурном плане социалистическая революция на принципах национализации земли и всех средств производства не стояла в повестке дня. Однако с точки зрения политической логики события в стране от февраля к октябрю развивались чуть ли не с железной необходимостью.

Перестройка гигантского, проржавевшего государственного механизма в условиях войны осуществлялась новым режимом из рук вон плохо. Ломка шла с трудом, а уж новое строительство — и подавно. Проблемы возникали гораздо быстрее, чем их удавалось решать, поток перемен захлестывал, смывал все устои.

Прискорбным фактором было, конечно, соперничество множества партий и групп, выраставших как грибы после дождя и отчаянно соперничавших друг с другом. Словесному многоцветью парламентских дебатов и митинговой риторики противостояли исконный народный анархизм и скептицизм. Настроение масс через пару месяцев после революции было примерно таким: а подите вы с вашими выборами, партиями, сложными программами и войной до победного конца. Крестьяне и рабочие требовали немедленного удовлетворения их чаяний и нужд. Экономическая ситуация между тем ухудшалась, властные структуры утрачивали авторитет, контроль центра над многоплеменной и многоукладной страной стремительно утрачивался. Хаос, развал страны становились вполне вероятной перспективой.

Отчаянное положение требовало отчаянных, в свою очередь, мер, но лидеры политических партий пребывали в зазоре между не выветрившимся еще хмелем неожиданной победы и полной растерянностью. Они лихорадочно искали прецеденты и ориентиры — но учебников, по которым можно было бы «проходить» русскую революцию, не существовало.

И так получилось, что единственной партией, соединявшей веру в свои принципы с сильным руководством, ясностью лозунгов (немедленный мир, земля крестьянам, народный контроль над производством и финансами) и железной решимостью осуществлять их, были большевики. Конечный их идеал — коммунизм —

располагался в легендарной перспективе, пути туда были неведомы. Но этот идеал отвечал общему антибуржуазному, традиционно коллективистскому складу русского народа, издавна лелеявшего мечту о чем-то абсолютно новом, о «стране Инонии». А ближайшие цели большевиков были просты и весомы, как камень в кулаке.

В условиях нараставшего экономического хаоса, политического раздора, слабости Временного правительства переход власти в руки Ленина и его соратников представляется вариантом вполне логичным и закономерным.

Теперь — второй кардинальный вопрос: *развивалась ли послереволюционная история страны безальтернативным путем?*

Конечно, в этом развитии имелись «точки бифуркации» — в самые разные моменты советской истории. Если не быть свинцовыми детерминистами, то легко можно увидеть варианты и альтернативы — разной степени вероятности.

Например, возможным было создание сразу после Октября гораздо более широкой социалистической коалиции. В этом случае многое в стране пошло бы по-другому. Правда, шансы на это были не очень высоки. Объективная причина — принципиально разная оценка ситуации большевиками с одной стороны, меньшевиками и эсерами — с другой. Последние, исходя из теоретических положений, считали, что Россия совершенно не готова к революции социалистической, и не считали возможным покинуть буржуазно-демократическое русло и посягать на атрибуты традиционной демократии. Лидеры же большевиков, в своем «волево», отчасти даже постмодернистском презрении к школьным прописям, готовы были ставить и на скорую победу революции во всеевропейском масштабе, и на удержание власти в отдельно взятой стране.

Субъективно — создание широкой социалистической коалиции было затруднено застарелой враждой социал-демократических лагерей и их руководителей. Но тут нужно заметить, что даже среди непреклонных большевистских лидеров не все были убеждены в своей способности управлять страной, не делясь властью с союзниками или партнерами. Некоторые предложения в этом плане делались — и не только левым эсерам. Однако многие из вождей других социалистических группировок слишком уж уверовали в то, что большевики — прожектеры и безумцы, дни которых сочтены. Они недооценили той популярности, которой практические действия коммунистов — например, радикальный уравнительный земельный передел — пользовались в народе.

Следующая развилка — борьба за власть в партии большевиков после смерти Ленина. Опять же, победа Сталина над Троцким и другими бойцами «старой гвардии» была вероятнейшим исходом. Дело не только в том, что Сталин был искуснее других в аппаратных играх, хитрее, циничнее — хотя все это верно. Главное — он оказался намного решительнее и практичнее. Другие партийные вожди пришли в некоторое замешательство, когда стало ясно: мировой революции не будет. Власть отдавать никто из них не собирался, но вот как ею пользоваться в дальнейшем, какую линию строительства социализма выбрать? Ведь и у этих далеко не кафедральных социалистов — Троцкого и Бухарина, Каменева и Зиновьева, Сокольников и Рыкова — пиетет к доктрине был в крови. Сталин лучше других ощутил национальную специфику революции, он понял, как заключить разбухшую стихию в русло жесткое, но понятное и приемлемое для народа, одновременно удовлетворив порыв низов к социальному реваншу.

Свобода внутрипартийных дискуссий и критики нужна была узкому слою социал-демократической элиты. Большинству коммунистов привычнее были подчинение и дисциплинированная работа во имя четко сформулированных целей, отодвигавших конечные идеалы в туманную даль. На этом Сталин и переиграл своих образованных, подкованных в марксизме соперников.

После того, как Сталин устранил Троцкого, а вскоре «заблокировал» Зиновьева, Каменева и Бухарина, выбор стратегического курса на быструю индустриализацию и коллективизацию стал неотвратимым. Только таким образом можно было подавить возможную оппозицию со стороны зажиточного крестьянства и повысить военно-технический потенциал страны на случай неизбежного столкновения с «международным империализмом». Хотя, разумеется, эти мобилизационные процессы могли быть проведены в намного более «мягкой манере».

А любопытно было бы увидеть на посту генсека «железного интеллектуала» Троцкого или вообразить какую-либо версию коллективного руководства — без Сталина, с распределением ролей и должностей между Троцким, Зиновьевым, Бухариным и Рыковым. Но это, ясно, вовсе уж из области альтернативно-исторических мечтаний...

Третья точка бифуркации — грубо говоря, 1937 год. Были ли процессы над видными деятелями «ленинской гвардии», начатые при Ягоде и разлившиеся кровавым половодьем при Ежове, неизбежными? Конечно, Сталин был человеком безжалостным и лишенным каких-либо гуманистических «сдержек». И все-таки, похоже, репрессивная машина при Ежове вырвалась из-под контроля вождя и какое-то время шла «вразнос», принесла немало «лишнего» вреда даже с точки зрения Сталина. Впрочем, так ли уж много «партийные чистки» меняли в жизни огромной страны? Ведь от реальной власти фигуранты процессов были уже давно отстранены. Трагедии коллективизации и голода 1933 года — весомее. Хотя отдельной темой является вопрос о «заговоре генералов» и влиянии репрессий в армии на характер будущей войны...

Можно наметить еще несколько поворотных точек: устранение Берии, свержение Хрущева, экономическая реформа Косыгина... Да и менее «звездные» моменты могли оказаться судьбоносными, например, более широкая поддержка собратьями по перу письма Солженицына к IV съезду советских писателей — да-да, и такая сравнительно скромная акция могла бы иметь далеко идущие последствия для общественной жизни СССР. Таких точек можно насчитать (вообразить) много — но не стоит придавать им слишком большое значение. Все же события *произошедшие* имеют большой «онтологический» перевес над событиями, которые *могли бы* случиться. Варианты, которые осуществились, заведомо более «жизнеспособны», больше укоренены в почве действительности, чем зыбкое множество потенциально возможного, представимого, желаемого...

Можно задаться вовсе уж «запрещенным» вопросом: *что было бы лучше для России (да и для мира) — чтобы Октябрьская революция была или чтобы ее не было?* Ясно, что любой ответ на такой вопрос будет густо окрашен произволом, убеждениями и идеологическими симпатиями отвечающего. Однако и здесь можно поискать взвешенную оценку.

В постсоветское время большинство отвечает на этот вопрос однозначно: лучше бы, чтобы чаша сия миновала Россию. И, опуская банальную сентенцию о том, что история не знает сослагательного наклонения, это, скорее всего, так. Да, можно мысленно выстроить две колонки: Про и Contra революции (как это сделано в пьесе Ю. Олеси «Список благодетелей»), посравнить и посмотреть. Тут выяснится, что список благодетелей, неоспоримых достижений вовсе не куц. Действительно, была сломана система жесточайшего социального неравенства. Ликвидирована была безграмотность. Заметно сократился экономический и культурный разрыв между центром и окраинами. Страна за два с небольшим десятилетия превратилась из довольно отсталой в обладательницу мощного научно-технического и военного потенциала, в одну из трех-четырех, говоря современным языком, мировых сверхдержав.

Другое дело, что многие из этих результатов, очевидно, могли быть достигнуты совсем другим путем — пусть не так быстро, но с несравнимо меньшими человеческими жертвами и социально-психологическими издержками. Россия, избавленная от анахроничного самодержавия, несомненно, стала бы довольно быстро двигаться по пути буржуазно-капиталистического прогресса, просвещения и повышения общего народного благосостояния. И — без страшных катаклизмов гражданской войны и большевистской диктатуры. Огромный экономический потенциал огромной страны так или иначе реализовывался бы. Культурный расцвет, обозначаемый символом «Серебряный век», имел бы свое продолжение. Не произошло бы страшного обрыва национально-духовной преемственности.

И так далее — только вот в каждой фразе приходится употреблять это самое «бы». И, главное, мы при этом берем в расчет самый благоприятный сценарий развития после Февраля 17-го — а ведь тут уже было сказано, что намного вероятнее был вариант продолжения и углубления хаоса в стране, следствиями чего могли бы стать многочисленные локальные гражданские войны, распад государства, деградация жизни в духе Смутного времени.

Но уж для окружающего-то мира «несвершение» Октябрьской революции было бы благом? Тень воинственной, одержимой мессианскими устремлениями державы не висела бы над Европой и Азией, семья народов не была бы расколота так жестоко, путь исторической эволюции был бы прямее и ровнее. Да ведь многие полагают, что и победа нацизма в Германии (с ее катастрофическими последствиями) стала ответом на марксистско-интернационалистский вызов.

Ну, в последнем пункте можно сильно усомниться. Все же Гитлер пришел к власти на волне турбулентности, возникшей внутри германского общества и буржуазной цивилизации — не нужно быть ортодоксальным марксистом, чтобы признать это. Что же касается эволюционного развития в XX веке — не стоит забывать, что кейнсианский подход и связанная с ним концепция «государства всеобщего благосостояния» возникли не только как следствия Великого кризиса, но и ввиду необходимости удовлетворить требования и «аппетиты» трудящихся классов, возбужденные социальными достижениями (пусть пропагандистски преувеличенными) Советской России.

Русская революция, таким образом, способствовала созданию своего рода «конкурентной среды» в мировом социальном пространстве, стимулировала новые поиски и подходы в рамках рыночной экономики и экономической теории.

Кроме того, вспомним, что на протяжении десятилетий советского эксперимента, при всех его жестокостях и издержках — хорошо, кстати, известных и по ходу его проведения, — множество деятелей культуры и науки на Западе выражали ему поддержку, симпатию, заинтересованность, пусть и не всегда безоговорочно. Достаточно назвать с дюжину имен: Ромен Роллан и Бернард Шоу, Андре Жид и Лион Фейхтвангер, Пабло Пикассо и Фернан Леже, Чарли Чаплин и Лукино Висконти, Альберт Эйнштейн и Фредерик Жолио-Кюри, Джон Бернал и Лайнус Полинг... Методы осуществления эксперимента они зачастую критиковали, но с целями его солидаризировались.

Поэтому гораздо интереснее, пожалуй, переформулировать последний вопрос таким образом: *могло ли из беды произрасти благо?* Существовала ли реальная возможность — после всех жертв и испытаний революционной поры, после эксцессов сталинизма — создания в СССР общества, в котором труд и творчество, а не нажива и потребление были бы в почете, где ценности коллективизма и взаимопомощи превозмогли бы естественные человеческие — то есть эгоцентрические — склонности?

Большинство «экспертов» признает нынче подобную задачу нереальной (правда, три четверти века назад такое мнение не было единодушным). Они при этом будут основываться не только на практических результатах советского эксперимента, но и на принципиальном убеждении в том, что вся концепция коммунизма была ошибочной, отклонением, ибо она противоречит базовым свойствам и интенциям человеческой природы.

На это можно возразить, что, во-первых, были мыслители, оспаривавшие существование человеческой природы как чего-то заданного, неизменного (Маркс, Ницше, Сартр). Во-вторых, даже если оставаться в рамках традиционного представления о человеческой природе, то и тут с коммунизмом и капитализмом не все так однозначно. Верно — современное рыночное общество реализует многие влечения и склонности, залегающие в недрах этой природы: стремление к богатству и власти, волю к соревнованию, конкуренции, к обладанию и экспансии, жажду превосходства и первенства. Все эти свойства стоят за бесперебойной работой механизмов производства и потребления, присущих капитализму.

Но ведь и коммунизм (социализм), если вдуматься, отвечает неким базовым человеческим стремлениям: к солидарности и справедливости, к стабильности и уверенности в завтрашнем дне, к поощрению и уважению со стороны окружающих. Да и к «экономии жизненных сил», к равновесию труда и отдыха.

Оба эти набора влечений и побуждений присутствуют в сложной субстанции, именуемой человеческой природой. У разных индивидов, этнических общностей, и в разное время преобладает то один, то другой из них. Так что тезис о естественности капитализма и противоестественности его антипода проблематичен.

Вернемся теперь к практическим результатам. Помимо «количественных» достижений советской власти, о которых разговор был выше, примерно к 60-м годам в стране возникла многообещающая социокультурная ситуация. Складывался новый «общественный договор»: за добросовестный труд люди не получают много денег, которые могли бы тратить на свободном товарном рынке (с товарами в советское время почти постоянно была напряженка), зато им предоставляются социальные блага в виде бесплатного образования, медицинского обслуживания, жилья. Объем и качество этих благ сильно разнились по ходу недолгой советской истории и почти всегда отставали от потребностей населения, но принцип «от каждого по способностям — каждому по труду» действовал и в целом удовлетворял запрос общества на равенство и справедливость — слишком большого разрыва в уровне благосостояния отдельных групп населения не было.

Высокая социальная мобильность не только декларировалась, но и осуществлялась на практике. Множество советских «капитанов производства» и генералов, академиков и народных артистов, министров и писателей были выходцами из рабочей и крестьянской среды. Правда, тут же нужно вспомнить и об ограничениях, которые накладывались на советских граждан по идеологическим или национальным основаниям (пресловутый «пятый пункт», например).

Коллективистские черты народной психологии в советское время получали мощные импульсы одобрения и поощрения, служение обществу и государству, коммунистическому идеалу официально прославлялось, объявлялось делом чести и славы. Система стимулов, основанная на трудовых достижениях, вкладе в общее дело, призвана была конкурировать с эгоистическим строем мотивов и побуждений.

Многое, конечно, в 60-е годы определялось общественной атмосферой. Тут и развенчание «культы личности Сталина», вселившее во многих надежду на возвращение к «ленинским нормам». Тут и энтузиазм молодежи, которой позволили соприкоснуться с «джазовым веком» и поверить в свои силы. И оптимизм интеллигенции,

ученых и инженеров, реализовывавших свой потенциал в научно-технических комплексах, заложенных Сталиным, и искренне осуждавших сталинизм. И облегченный вздох рабочих и крестьян, почувствовавших явное «ослабление режима». И волны патриотической гордости, вызванной первыми космическими полетами, манифестациями военной мощи, успехами ядерной энергетики и т. д.

Императив работы и творчества во имя общего блага был осутим. Молодые Стругацкие выражали по-своему и идеал времени, и дух времени, когда в повести «Понедельник начинается в субботу» говорили о людях, которым «интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкой, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом... Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова».

Я не случайно упомянул здесь Стругацких. В поисках ответа на поставленный вопрос нам не обойтись без экскурсов в литературу эпохи «зрелого социализма». Насколько она была проникнута социалистическим духом и энергетикой? В период, о котором мы говорим, конечно, нельзя было ждать книг, восторженно, иступленно, в духе 30-х годов воспевающих подвиги и жертвы людей во имя коммунистических идеалов. Время изменилось, жизнь обрела иные формы, и даже репильные или насквозь ангажированные авторы уже не прибегали к подобной риторике и стилистике. Как же литература отображала современную действительность, современные жизненные ситуации и конфликты?

В дебютных и столь нашумевших произведениях Вас. Аксенова «Коллеги», «Апельсины из Марокко», «Звездный билет» юные герои часто оказываются в ситуациях, когда нужно выбирать между собственными интересами, удобством, покоем — и следованием идеалам, моральным принципам. И они, несмотря на свое юношеское фрондерство и непочтительность к официозу, выбирают ценности, являющиеся в конечном итоге социалистическими. Сходные коллизии сходным же образом решаются в романах и повестях других писателей круга «Юности»: А. Гладылина, Вл. Орлова, В. Амлинского, М Анчарова.

У молодого Виктора Конечкого истории из жизни моряков — «Путь к причалу», «Повесть о радисте Камушкине», «Завтрашние заботы» — были насыщены негромким пафосом деяния, преодоления, верности долгу, самоотверженности в духе правила «Сам погибай, а товарища выручай». Сквозь «хемингуэевскую» стилистику здесь просвечивали вполне коллективистские ориентиры и чувство ответственности за свое и общее дело.

Герои повестей Д. Гранина — молодые инженеры, ученые — увлечены решением научных и прикладных задач и в то же время жаждут преуспеть в своих сферах деятельности. По ходу дела они вступают в конфликты с карьеристами и ловчилами, сталкиваются с непростыми житейско-психологическими коллизиями. Поиск истины в этих произведениях перекрещивается со стремлением героев сохранить цельность личности и чистую совесть.

Тут, конечно, нужно еще раз вспомнить звонкую фантастику братьев Стругацких. В своих ярких утопиях «Полдень. XXII век» и «Стажеры» они изображали чаемое коммунистическое будущее как располагающееся неподалеку, за ближайшим историческим поворотом, а людей, его населяющих, «почти такими же», как их современники и сверстники.

Литературные примеры можно множить — и их вовсе не следует списывать на спущенный сверху социальный заказ. Эти идейные, духовные послы не были априори ложными или выдуманнами. В 60-е годы в стране действительно сложилась

особая конstellляция, благоприятная для социально-культурного прорыва. Несмотря на множество дефектов, огрехов, неувязок «проекта», несмотря на огромные и неоправданные жертвы, принесенные обществом совсем недавно, многие полагали, что эти жертвы были не напрасны, что жизнь меняется к лучшему, а ориентирами изменений служат справедливость, равенство, солидарность. Они знали, что достаток и комфорт в странах Запада намного выше, чем в их стране, но находили основания для «собственной гордости» — как в государственных достижениях, так и в чувстве солидарности и исторической правоты.

И этот редкостный шанс рывка в будущее на порыве попутного ветра был бездарно, позорно упущен. Почему? Можно ответить обобщенно и недифференцированно: мол, в итоге инерционные начала человеческой природы, греховной и ущербной, оказались сильнее обновленческих тенденций, ростков лучшего и высшего. Объяснение довольно тавтологичное: получилось так, потому что иначе получиться не могло. Продуктивнее взглянуть в конкретные процессы, протекавшие и сталкивавшиеся в советском обществе. Конечно, огромная доля вины за провал лежит на советских элитах, партийных и государственных. В постсоветское время каких только обвинений, каких только бранных эпитетов они не удостоились — и ведь почти всегда заслуженно. Степень заскорузлости, догматизма, сервилизма, интеллектуальной ограниченности, невежества советских чиновников, управлявших всеми сферами жизни, трудно преувеличить.

А ведь еще в 30-е годы, несмотря на жестокость и авторитарность режима, в «системе» хватало не только энергичных и грамотных исполнителей, но и деятелей предприимчивых, инициативных, способных принимать смелые, нестандартные решения. Во многом именно благодаря таким людям — в армии, в индустрии и науке — была совершена промышленная революция, а позже выиграна война против нацистской Германии.

Однако к концу сталинского периода и после него «система» стала быстро костенеть, проникаться склерозом. Отсутствие внутрипартийной демократии и конкуренции мешало эффективной смене кадров на разных уровнях, «номенклатура» принялась быстро стареть — и физически, и морально. Тенденция эта скоро охватила и локальные, «отраслевые» элиты. Из-за этого проваливались все попытки реформ в экономике и общественной жизни, направленные на их модернизацию, устранение кричащих противоречий и «завалов». В результате все больше расширялась пропасть между словами, лозунгами — и реальным положением вещей, что вызывало раздражение и недовольство людей, взращивало недоверие к власти, равнодушие, лицемерие.

А ведь даже скромная оптимизация планирования, управления в промышленности, допущение личной инициативы в сельском хозяйстве — без покушения на доктринальные основы — привели бы к заметному повышению народного благосостояния. Не меньший эффект произвела бы реализация принципов открытости и «гласности» на 20 лет раньше, чем это сделал Горбачев.

Беда советского строя заключалась, помимо прочего, и в том, что его идеологи занимались совершенно трафаретной, набивавшей оскомину критикой «мира наживы и эксплуатации» вместо того, чтобы сколь-нибудь творчески отстаивать и пропагандировать собственные достоинства и ценности — лежавшие совсем в других плоскостях, нежели «kozyри» западного образа жизни.

Отдельно нужно сказать о перманентном конфликте, в который советская власть вступила с советской же интеллигенцией. Об этом мне недавно довелось писать в статье «Интеллигенция: конец пути?». Основная вина за этот конфликт опять же лежит на советских и партийных функционерах с их ограниченностью, недалеко-

видностью, неспособностью понять «тренды» времени и попросту со страхом утратить монополию на власть. В контексте настоящей статьи это противостояние важно с точки зрения общественного самосознания: каким образом жизненные, моральные ценности социализма проиграли конкуренцию с ценностями буржуазными. А произошло это, помимо прочего, потому, что некому оказалось их озвучивать и защищать. Образованный класс советского общества, справедливо обозлившийся на «номенклатуру», утратил интерес и к социалистическому эксперименту в целом.

В итоге в 70-е годы был не только утрачен импульс авангардного научно-технического развития (проигрыш гонки за Луну), но и обозначились явно социальная стагнация, разочарование, цинизм среди самых широких слоев населения. В отсутствие масштабных и внушающих доверие целей люди с головой погрузились в обустройство своего быта. Наступило — по выражению В. Маканина — «мебельное время». Приобретение — «доставание» — гарнитуров, а также машин, кооперативных квартир, модной одежды и копченой колбасы, как и дефицитных или запрещенных книг, было делом хлопотным, в этот процесс уходили способности и энергия индивидов.

И снова литература точно отразила социально-психологическую ситуацию. С начала 70-х годов «качественная» проза разделяется на два главных смысловых русла (я тут не говорю о разделении на «горожан» и «деревенщиков»). Одни авторы стали на позиции «критического реализма», более или менее скрытого оппонирования существующей власти, ее официальным учреждениям и установлениям. Другие, и их большинство, как бы перестали замечать социальный строй жизни, перейдя к сугубо универсальным темам и ситуациям, к живописанию любопытных изгибов человеческой природы, причудливых конфигураций бытия и быта. Главное, что и те, и другие «забили» на социалистические мечты и идеалы.

Особенно характерен здесь пример Ю. Трифонова. Его ближайшие родственники принадлежали к «старой большевистской гвардии», и многие из них погибли в годы Большого террора. Несмотря на это, Трифонов, как можно заключить из его книг и из свидетельств знавших его людей, продолжал исповедовать идеалы социализма и «принципы 1917 года». Однако в его произведениях конца 60—70-х годов, отражавших умонастроение продвинутой советской интеллигенции, преобладали мотивы критики сталинизма и его наследия, проблемы конформизма и двоемыслия, морально-психологические коллизии повседневности. Тем самым собственно «советский» опыт выводился из актуального жизненного пространства.

Конечно, были исключения: Даниил Гранин (которого сильно ругали в прогрессивных кругах за двоедушие), еще более одиозный в ту пору Александр Проханов, М. Колесников, Ю. Семенов...

Особо хочу сказать о двух очень разных писателях. Первый — Александр Гельман, работавший в 70-е годы с производственной тематикой. Фильм «Премия», снятый по его сценарию, стал знаменитым, как и постановки пьесы, в которую был переработан сценарий. Две другие пьесы, «Обратная связь» и «Мы, нижеподписавшиеся», тоже были в ту пору весьма популярны.

Погружаясь в проблематику, считавшуюся трафаретной и унылой, Гельман выстраивал свои драматические опусы весьма изобретательно и мастеровито. Да, его в первую очередь занимали внутренние противоречия и изъяны советской планово-командной системы, которые он и выявлял наглядно и ярко, в острых коллизиях и сюжетных поворотах. Однако действовали в его пьесах не только рычаги, кнопки и функции, но и живые люди. И некоторые из них (бригадир Потапов из «Премии», Леня Шиндин из «Мы, нижеподписавшиеся») отстаивают свои убеждения, замешенные на боли за общее дело, на неприятии лицемерия и лжи, не только красноречиво, но и с подкупающим, психологически достоверным упорством.

Другой автор, упоминающийся в этой связи, — харьковский прозаик Владимир Добровольский. Его романы — «За неделю до отпуска», «Текущие дела», «Крымские персики», — в отличие от пьес Гельмана, никогда не были «бестселлерами» и издавались скромными тиражами. Это были добротные психологические повествования о людях 70-х, людях производства: рабочих, сменных мастерах, инженерах, парторгзах и профоргзах. Нет, все эти персонажи у Добровольского заняты отнюдь не только «трудовым горением». Они влюбляются, разводятся, воспитывают детей, выпивают и закусывают, попадают в переpleты и вовсе безвыходные ситуации, как начальник цеха Агишев («За неделю до отпуска»), примерный работник и хороший семьянин, ставший виновником ДТП со смертельным исходом.

Но главное — эти люди ведут себя так, словно моральные нормы, принципы коллективного общежития, ответственность за происходящее вокруг — это не газетные лозунги, а самая доподлинная реальность. Это не значит, что они автоматически следуют «правилам добра», но эти правила актуально присутствуют в их жизненном мире, влияют на их выборы.

И, однако, подобные авторы и произведения оставались лишь отдельными явлениями, при этом не самыми яркими, литературного процесса 70–80-х годов. «Мейнстрим» определялся совсем другими художественными и смысловыми подходами к советской действительности.

Результат известен. Действительность эта в один прекрасный день рухнула как карточный домик. И это как будто позволяет ответить на сформулированный выше вопрос достаточно определенно: нет, коллективистские, альтруистические начала жизни не могли восторжествовать в действительности — ведь то, что произошло, как тут уже говорилось, онтологически перевешивает умопостижимые версии и варианты. Хотя — кто знает — если бы «система» была своевременно модернизирована и социалистический эксперимент продолжился еще несколько десятилетий... Нет, никакого скачка в коммунистический рай, в «царство свободы» не произошло бы. Но, может быть, человечество получило бы некую реальную альтернативу той лихой колее, по которой оно с грохотом катится последние три десятилетия?

Увы, шанса разыграть эту ситуацию заново, испытать другие ходы и комбинации уже не представится. История — не шахматная партия.